

У каждого человека есть в памяти событие, с которого он стал ясно осознавать себя в окружающем мире. Такое мое первое жизненное впечатление – это долгий, длиною в день, переезд на санях в нашу деревню. Мне шел тогда пятый год.

Было это в конце марта, когда человек, утомленный зимой, улавливает в особенной чистоте и легкости мартовского дня несмелое и почти незримое присутствие весны. Теперь мне легко говорить об этой еле уловимой хрупкости марта, потому что в памяти остались наблюдения многих лет. А тогда мне было просто холодно.

Однажды утром мать сказала, что нас освободили, отбили у немцев и что нам нужно теперь добираться домой. Вместе с нами расходилось и

разъезжалось, кто куда знал и кто куда мог податься, много людей, отбитых нашими войсками.

Мы ехали на корове, запряженной в сани, в свою деревню. В старых розвальнях на охапке соломы стояли небольшой узел, завязанный черным цветастым полушалком, и кошелка. И сидели мы с матерью. Я был одет в фуфайку, и помню, что мне всю дорогу было холодно, а на санях ничего не было, чем можно было бы укрыться и накрыть ноги.

Моей матери тоже, наверное, было холодно. Она то подолгу стояла на коленях, придерживая рукой вожжи, то садилась на солому, кутаясь полами старой плюшки. А может, её больше холода тревожило, что вдруг деревня сожжена немцами и тогда неизвестно где придётся устраиваться.

Мартовский холодок незаметно подобрался ко мне почти в начале пути, и я скоро почувствовал, что стал мерзнуть. Я прислонялся спиной то к узлу, то к ногам матери, стремясь выгнать холод изпод фуфайки, кутался, прижимая каждую складку одежды к телу, затягивая короткий тоненький воротничок, прятал руки в карманы, стараясь засунуть их вместе с обшлагами рукавов.

Холод был не настолько силен, чтобы заплакать, но он студил мне лицо, локти, колени, причиняя ноющую боль. Мне было очень неудобно; я ежился и вздрагивал, ворочался с боку на бок. И каждый раз от неловкости открывалось где-то новое окошко, и я догадывался об этом, когда начинала стынуть поясница, застывала шея или зябли руки.

Я старательно дышал себе за пазуху теплым воздухом, но от этого только становилось холоднее, и по телу начинали пробегать мурашки леденящего озноба.

Ветер был не сильным, но тоже по-весеннему особенным. Он не метался, не утихал, он сквозил упорно, каким-то единым студёным дыханием, как будто плотно и стремительно летели мелкие льдистые колючки. От него было холодно, как от прикосновения снега. Он опускал мне за шиворот сосульки ледяных пальцев; брызгал капельками холода в лицо, просовывал к позвоночнику холодную ладонь и круто щипал, вызывая дрожь. Я отчаянно вбирал голову в себя, прижимал озябшие колени к самой груди, укутывал их полами фуфайки. Но холод настырно забирался за пазуху, пытаясь выстудить оставшееся во мне тепло. Так, лихорадочно вздрагивая, мне приходилось ехать целый день.

Потом я уже безучастно сносил холод, почти произвольно подергивал плечами, всё время чувствуя, как меня то и дело охватывает озноб, и с удивлением глядел на свои озябшие руки, покрытые шершавой сизоватой гусиной кожей, когда приходилось подкладывать горсть соломы, чтобы поудобнее сидеть на горбатых слегах.

Даже солома, которую я уже знал как теплую и мягкую, на которой обычно хорошо спалось, была гладко-холодной. Из-за неё, удобно пристроившись, я вдруг на ухабах дороги соскальзывал в конец саней, и мне снова приходилось устраиваться и согреваться.

Холодно было и оттого, что светило солнце. Небо приветливо и лучисто голубело. Солнце, конечно,

могло согреть. Я сам видел по краям дороги подтаявшие огромные глыбы снега, покрытые черным налетом и ноздреватой рыхлой коркой, обтаявшие лунки следов, слышал шарканье коровы, как она, медленно ступая, с хрустом обламывала льдинки-стеклышки обледеневшего снега.

В ложбинах снежное одеяло уже промокло от собравшейся талой воды, окрасилось в грязно-зеленоватый цвет. Уже сидели грачи на деревьях черными яблоками, и с веток свисали слезы сосулек.

Я почти с замиранием ждал, когда солнечные лучи пригреют мне плечи. Но солнце тогда не грело, и тепла от него не было.

Мне уже ничего не хотелось, только бы согреться. Я с нетерпением провожал глазами телеграфные столбы и огорчался оттого, как медленно они шли навстречу. И когда с пригорка я видел, что впереди еще долина, а за ней новый взгорок и опять не видно ни одного домика, мне становилось горше и холоднее: почему же так длинна дорога?

Было безлюдно. За весь путь встретились одна подвода. Мужик ехал на санях, лежа, навалившись на локоть. Лошадь у него была с бахромой включенной потной шерсти под животом. Она бежала, спотыкаясь, проваливаясь в снег, тяжело дыша и фыркая. Встречный даже не сказал «здравствуй», а только пристально проводил нас глазами.

Наступал вечер, а мы все еще ехали. При вечернем солнце льдистый наст сверкал каждой неровностью, каждым выступом, то горел алыми огоньками, то отливал золотом.

Вечер долго струился синевой, в которой все было далеко и ясно видно. Он был чист и прозрачен. Темные силуэты деревьев вырисовывались необыкновенно четко, каждой веточкой, каждым узлом сучка. Они словно тонкой иглой были выжжены на фоне неба.

Потом солнце село где-то за холмом, далеко позади саней. Край небосклона опоясала розовая полоска заката, а все остальное небо стало меркнуть и тускнеть.

И было по-прежнему холодно. Пронизывающая стынь леденила все вокруг. Видно, была такая пора, что для того, чтобы согреться, не хватало тепла матери, тепла земли.